

*Малая родина — это то,
что на всю жизнь одаривает нас
крыльями вдохновения.*

Е.И. Носов

1

В мягко сомлевшем, предзакатном солнышке, а может, из-за цветущих подорожников, задичалый проселок становился в этот час розово-пенным, топлено-молочным. Ступать по нему, по девственному, зефирному облаку, нога не осмеливалась. Куда привычной шагалось прибоченной стежкой, меж высоченных, обрызганных медом и золотом, зарослей донника, переплетенных луговой повителю, с вездесущими куртинами лиловых султанчиков кипрейника.

В вышине, в легчайших потоках июльских воздушных парил величественный стрепет. Старожил. Сколько себя помню, столько помню и его, царственного владельца игинских полей.

Обогнув разомлевшие под палящими лучами валуны, прогретые в знойких июльских погодах свои увальни-туши и источавшие на вечерней заре ласковый жар, проселок по-хозяйски вступил на опушку Хильмечков, домовито, не спеша,

точь-в-точь, как ступая, возращаясь с работы, мужик на прикрылечный прохладный и влажный от расплесканной на нем суетящейся хозяйкой ключевой водицы порожек. А за проселком шнырнула, словно боящаяся заблудиться в широких покосах собачонка, косматая от переспелых трав стежка.

Если на краю бора еще слышались птичьи посвисты и перепорхи, то глушь уже окутывала дрема. Веки могучих сосен почти смежились. Сумеречный свет едва-едва прокрадывался меж красно-бурых стволов, лениво опудривая землю то ли мучнистой пылью отцветающего перестоявшего разнотравья, то ли первой зоревой осыпью купальской росы.

Тончайший предвечерний свет этот всегда врачевал мою душу, проникал в ее самые потаенные закоулки, всклень наполняя их целительным умиротворением, покоем и внутренним ладом, который наступает обычно после беседы с духовником или приходит во время долгожданного общения с очень дорогими сердцу людьми.

В эти минуты озаряешься такой добротой и нежностью, что осознание радости простого земного бытия перехлестывает тебя через края, расплескиваясь на ближайшую округу, примыкающую к Мишкиной горе, на мою родину: на этот истоптанный вдоль и поперек моими земляками в поисках маслят и куманики, погружающийся в трепетную тишину бор; на выставившийся над ним мелкими цветками млечного земляничника Небесный проселок (кажется, сделай лишь шаг — и ступишь на его звездную россыпь); на звуки, доносящиеся из отходящей ко сну крохотной, сохранившей несколько дворов деревушки.

Когда-то здесь, на Мишкиной горе, сотни изб перемаргивались до зари своими оконцами. Думалось ли?.. Время, прокатившиеся по земле ураганы, да и сами люди не пощадили обжитого столькими веками места. Но от этого родина для меня не перестала быть родиной. Приходишь ли ей поклониться или покидаешь ее навсегда, истинная святыня не меркнет ведь никогда. Она, невзирая ни на какие обстоятельства, извечно лучит и лучит свой тихий и неповторимый свет... И не велик он, свет моей Мишкиной горы, и не ярок, но, словно пламя Божьей лампадки, чист и негасим.

И подумалось вдруг: вот и свет окошек отчей хаты тоже отовсюду вижу я и чую его притягательное тепло и неизбывный зов, даже сквозь великие версты, как сейчас, сквозь окраинный молодой соснячок бора.

От отцовской усадьбы слышится звонкий приветный лай. Это Дружок, высмотрев меня издали, от самых Хильмечков, срывается навстречу, сминая волглые травы, вышарахивая из них сонных, очумелых перепелок. С заливистой радостью кидается мне на грудь, сбивает с ног.

А в небе, высоко-высоко над нами, орлит дивная птица, уходит в сторону Ярочкиной ложины. Бежим с Дружком за ней, наперегонки. До самой изгороди, до неохватных шаров приколичных раки. Воткнутые отцом лет сорок назад колышки вымахали в гигантские деревья, раскатились вдоль проселка на въезде в Игино.

А там сквозь червленое последним, закатным лучом серебро высоченных тополей, обрамляющих родительскую усадьбу, просматривается вылинялая, но все еще видная за версту красная крыша нашей пятистенки.

Минуя утренний укус, успевший просохнуть за долгий летний день и к вечеру впритруску собранный в валки, проселок вкатился в деревушку, а прищипленная к нему стежка, ничуть не заморачиваясь, рванула

напряжки — вихлянула и, нырнув в шалфейное море, выскользнула на краю бакши, запетляла меж цветущих картофельных гряд и веснушчатых зонтиков укропа.

Пройти мимо поляны шалфейника не достало мочи. Когда-то отец подтащил на ее край поваленный ноябрьскими ветродуями тополь, опилил его, и теперь, после ухода мамы, в летние вечера частенько засиживается на этом бревне. Пристроилась на нем передохнуть и я. Завспомина-алось...

Когда цветы и травы входили в силу, в июле, под Ивана Купалу, и в августе, на Пантелеймона Целителя, мама собирала на Мишкиной горе охапки зверобоя и чабреца, душицы и мяты. И зимы напролет семейство наше упивалось ее вкусными чаями. К шалфею у мамы отношение было особое. То ли верила она в его силу великую, то ли нравились ей его крошечные, неброские, фиолетовые цветки-«петушки», только пуками шалфейника в детстве моем было завешено у нас все крыльцо.

Сиреневая шалфейная поляна с тех далеких времен разрослась, откуда-то среди «петушков» объявились лупастые ромашки, рассыпались пшенкою таволги, вызвенелись колокольцы — собирай букеты, плети венки! Да некому...

Вечер истаял до последней капельки. Лишь цвигикали цикады да в полверсте все еще не мог угомониться на заброшенных торфяниках подкативший под самый угор, поросший ряской, небольшой, с картузок, пруд-карасевник. На все лады орали на нем, прославляя свои камышовые заросли, горластые лягушки. Правый берег, кировский, выступал в Ярочкин лог, а левый, голубой от нескончаемых зарослей незабудок, считался испокон веков нашим, игинским.

Клин, разделявший отцовскую усадьбу и этот прудок, пахали истари тоже игинские мужики. На этом-то, некогда хлебном, а теперь поросшем молодым березняком поле и обосновался мой стрепет, объявлявшийся, как мне казалось, над проселком всякий раз, как только я выходила за околицу. Вот и сейчас, покружив над поляной, снизившись до предела, он почти чиркнул крылом на прощание о склонившиеся в дреме цветы, удалился на покой.

От пруда вдоль низины давно курились туманы, поднимаясь все выше и выше по угору, они, наконец-таки, скрыли и бор, и околицу, и уснувшую шалфейную поляну.

Уютом и покоем поманили окошки отцовской избы. Пора!

2

В деревне сидеть без дела — не разбалованы. Отец, дожидаясь нашего возвращения, накрыл стол суровым настольником, уже и картошки ранней наскоблил, и слазил в погреб, а нас все нет и нет. Чтобы не терять время попусту, пристроившись на порожке, он, посматривая то и дело в сторону леска, «на гулянках» принялся нанизывать на суровую нитку тонко накромсанные подберезовики, развешивал их сырые, тяжелые гирлянды на гвозди, вбитые вдоль крылечных стен.

Со вчерашнего обеда, с самого моего приезда, отца распирало чувство радости, и он, стесняясь почему-то его обнаружить, просто говорил и говорил со мной без умолку. Вот и теперь весь вечер, покуда я помогала ему украшать крыльцо отволглými снизками, а потом собирала на стол, он не давал мне вставить в его балаканье ни слова.

— Без солнца солнцем осветила, — было отцовским запевом. — Дай хоть наговорюсь с тобой досыта, а то Дружок совсем неслухом стал. Я ему про то, про се, в некотором царстве, в некотором государстве, а он — шнырь и на боковую, — останавливал меня старик каждый раз, как только я открывала рот.

Я покорно смолкала. А отец говорил и говорил. Взхлеб, обо всем подряд.

...Отчетливо помнится тот спелый июньский вечер на Мишкиной горе. Через распахнутые окна из палисада слышался неумный стрекот цикад, с огородных гряд тянуло укропом и огуречником.

Наконец плетушка опустела — с грибами было покончено. Щелк — брызнул свет, и Мишкина гора озарилась им из шести окон нашего небольшого, затерянного в среднерусской ночи дома.

На свет сквозь реденькие тюли слетались бархатно-серые, тяжелые бражницы, кружили у плафона, под самым потолком. Ветки старой антоновки мягко терлись листвою о стекла. В мальвах еще громче надрывались цикады.

Казалось: нет и не может быть в мире другого иного места, где так же отрадно, где так же, как здесь, отступят от моей души заботы и утोलются мои печали.

За плечами отца большая жизнь: смолоду хлебнул лиха, а выучившись, наперекор всем страстям, благодаря лишь своему упорству, учительствовал, потом взвалил на себя неподъемные тяготы почти развалившегося колхозного хозяйства. Но вот уже более десятка лет все хлопоты его сводятся едва ли не к починке-подлатке старенького нашего домишки, догляду, пересчету пчел на притулившейся под разлапистыми яблоньками крошечной пасеке, уходу за бакшой, где все, как и полагается, свойское, под рукой, — и лучок, и свеколка, и огурчик-помидорчик.

Хозяйство у старика моего невеликое. Но на крестьянском подворье работа всегда найдется. Вот и топчется он с ранней рани до вечерней зари, все дело себе пытается. То накопает по весне в Хильмечках молоденького соснячку и пристроит его обживать по кромке Мишкиной горы, то возьмется по ее склону дубовые порожки к роднику налаживать. Да мало ли какой непорядок доглядит пытливый мужицкий глаз!

— Вот и еще день отлетел, — отрывая листок от численника, усталый, но довольный несчетной кучей переворошенных дел, отец усаживается за стол на свое излюбленное место, у допотопного буфета, и, кинув на колени большие кулаки, тихо добавляет: — спасибо Тебе, Господи!

Сиротствуя с малых лет, не привыкши верить ни в какую иную силу, кроме своей, у него и на Бога не было надежи, и, как казалось мне, к православию был он совершенно равнодушен. Правда, с годами, нет-нет да сам затевал долгие разговоры, порой и споры, о «религии, о вере». Видать, мыкалась душа его, пыталась сыскать к концу жизни приют благодатный. Может, оттого и на колокола Сергиевской церкви, не задумываясь, подал старик мой денежку, и потом, ничуть не смущаясь, будучи непоколебимым коммунистом, явился на освящение храма.

И теперь, заметила я, все чаще слышу от него: «Спасибо, Господи!» или «Прости, Господи!» Уже от этих слов становится на душе моей теп-

ло. Чтобы понять эту малую мою радость, надо знать моего отца. Повлиять на него в таком важном деле не представляется никакой возможности. Он до всего доходил сам. Сам, своей непроторенной тропкой, идет он, видеть, и к Богу.

Отчего и не ведаю, только всегда в родительском доме у меня возникает одно и то же неукротимое желание, будь то самое жаркое лето, и уж, конечно, в зимнюю стужу: растопить, как бывало в детстве, печку, покоротать время в разговорах ни о чем, под потрескивание полешек, в отблесках огня, до полуночи, а то и до петухов, у родительского очага. Есть несколько вещей, предметов, знаю их наперечет, которые сразу возникают перед моими глазами при воспоминании о родине и отчем доме. У кого-то, может быть, как повелось, это наши дивные березовые рощи. А у меня, поди ж ты! — одно из самых дорогих воспоминаний — распростая русская печка.

Зная мою слабость, отец загодя подготовился, заправил печку щепой и поленьями. Охалка березовых дровишек белоснежной горкой возвышалась у ее подножья, дожидаясь своего часу. Чирк — скукожилась береста, печка расправила душу, вздохнула, и огонь мгновенно охватил сухое до звона дерево. Заплясал, загудел в дымоходе.

Старик мой — без похвалы — с завязанными глазами может сладить любую грубку, печку, а уж себе-то, знамо дело, — расстарался. Огонь загулял — красотища! И домишко наш ожил.

В чисто подметенной, в меру протопленной хате на столе парила, обсыхая с развару, ранняя картошка, курятина, рядом дышали чесноком и хреном первые малосольные огурчики, присыпанные укропом и луком, в миске сопливились с фуфаечную пуговку, не крупнее, маслята, собранные нами с Дружком еще вчера по краешку Ярочкина леса.

Отблески печного огня, наполняя дом покоем и уютом, ласковыми рыжими котятками скакали по половикам и занавескам, вспрыгивали на табуретки, заскакивали на подоконники.

Светлой печалью всплыли воспоминания о том, как прощалась, уезжая на жительство в город к средней своей дочери, бабушка Григорьевна. Обойдя на прощание избу, она наконец подступила к печи. Обняла ее и уж причитала, причитала по ней... мол, как же я без тебя, родненькая, на чужбине-то?

Один за другим гаснут очаги в игинских избах... и кричи, не кричи, остывает душа моей тихой безответной родины. А без нее, без Мишкиной горы, хоть и живем мы с ней давным-давно порознь, нет, видеть, мне ни душевного лада, ни счастья.

За ними и возвращаюсь я сюда снова и снова. А еще — чтобы разжечь огонь в родимом очаге, чтобы подышать смоляными воздушными Хильмечков, чтобы испить студеной, аж зубы ломит, водицы из знакомого с малых лет игинского родника. А без всего этого, до боли родного и милого, как жить?

И куда бы ни забросила меня судьба, я знаю наверняка, меня ждут, меня помнят. И эти разбушевавшиеся у крыльца «золотые шары», и у забора задумчивые, высоченные липы, и сбегаящая вдоль суглинистого склона к ручью Желтому затерянная в анисовых зонтиках юркая ящерка-стежка, и... да вся моя родимая земля. С ее былинными деревьями Закамней, с поросшей чудными купавами и непроходимыми тальниками Кромую-рекою, с заповедно-берендеевым Савиным урочищем и еще много, много с чем.

И знаю я наверняка: пока у меня есть Мишкин бугор, мне есть, куда возвращаться, а потому — ничего меня не страшит — у меня есть родина, есть великая опора.

Догорают дровишки, бордовые уголья то гаснут, то на мгновение вспыхивают, то, затухая снова, осыпаются, бледнеют. Таинственно-вечное свечение звезд, июльская ночь, объявшая Мишкину гору, наконец остепеняет занудных цикад. Или у меня, разморенной теплом и уютом, к полуночи притупляется слух?

Вот так бы плыть и плыть в полудреме, то прислушиваясь к отцовским былям-небылицам, то давая волю собственным мыслям, сквозь время, сквозь эту чудную летнюю ночь... причаливая к лазурному, осиянному маминой и бабушкиной любовью и заботой берегу детства, или к берегу юности, с разговорами с отцом по душам обо всем на свете: и о том, что рядом, чем полнится душа человека, живущего землей и на земле, и о том, что предстоит изведать в дальних краях, испытывая в разлуках свое сердце на привязанность к породившим и вскормившим меня местам, на умение сохранять к ним любовь, невзирая на время и расстояние.

3

Как ни пытайся, за отцом не утонишься. Вроде и проснулась раньше некуда — солнышко только-только показало краешек своей короны за глинистым погостом, за дремными Копытцами. Ан нетушки — старика уже перед зарей след простыл, по-молодому ударился в бег! Может, рванул на «тот конец», в Кирово?

Выхожу на крыльцо и отправляюсь на его поиски: через двор, по маковке горы, стежкой спускаюсь по склону в межгорье. Темно-зеленый след на сивой от росы траве выводит меня в низину, к подножию Мишкиной горы, к роднику, к ручью Желтому. Раздвигаю прутья краснотала и только тут, наконец-таки, обнаруживаю отца: хоть и медвяная росная прохлада обжигает тело, босого, подкатавшего штаны, забравшегося по колено в воду и вытаскивающего на берег, в розогные кусты, поваленные бобрами стволы раkitника, ветки и листовой мусор.

— Развелось этой дичи у нас несусветно! Вишь ты, все подгорье перекрыли, дыхнуть, свежей водицы испить Желтому не дают. Не ручей, а самое что ни на есть болото! — путаясь в бородатых прядях илистой тины, возмущался старик на заселивших наши места лет пять назад и расплодившихся не на шутку непоседливых работяг.

И действительно: куда ни глянь, вдоль русла ручья — завалы, хатки и нагромождения. Изредка слышатся размеренные водяные всплески. Порушены громадные осокори, не верится даже, что небольшой зверек, будь он хоть сколько проворен, способен подвалить, словно добротная бензопила, неохватные стволы прибрежных деревьев. Но приглядишься и поверишь — пила прошла бы ровнехонько, а тут — торчащие из воды комли подточены резцами неумных бобриц, заострены, словно частокол.

Рассвет исходил лаской, истончался. Проявляясь все настойчивее, налаживался молодой день: лизнул алым светом метелки камышей, чавкнул, подлетел легчайшим ветерком под болотные туманы, слившиеся с синевой раннего утра и принявшие окраску разбавленной водой чернил, и понес их, подгоняя, словно табун заблудившихся овец, куда-то в Гороня, по лосиным тропам, за дальние луговины.

Огнулись и старом принялись восхвалять пришествие нового дня невидимые птицы. Из зарослей тальника, подкрякнув, дикая утица вывела на середину поросшей ряской, остановленной бобрами воды пяток уже подросших, но все еще отличавшихся размером от матушки, боящихся любого шороха утят. На все лады, радостно и беззаботно, щебетали синицы, перечивкивались воробьи. Сквозь этот беспечный, счастливый гам с опушки Хильмечков вдруг прорвалось, словно вдовье приглушенное рыдание, печальное и долгое кукуканье.

Из глиняных нор с крутояра сверкнули стрижи. И заносились, зачиркали над округой, кроя воль и поперек миткальные, пропахшие осокой и валерьянником воздухи.

Жаль, соловья уже не услышать. Здесь, в Игино, удивительные, какие-то неумные соловьи, искусно вычмокивающие такое количество коленцев, что не стыд потягаться и с курскими. Отзвенели, отхлебнув июльских рос, наши игинские певуны. Так уж и пора — Петровки на носу!

Досыта навоевавшись с бобрами, отец наконец-то выбрался из воды, откатал штанины, надвинул любимые, растоптанные на проселке сандалии, и мы совсем было засобирались до дому, как старик вдруг всплеснул руками: «Что ж это я? Хотел тебе кое-что показать, да закрутился с этим зверьем, совсем настырные памерки отбили. Пойдем-ка, на коммунизм полюбуемся. А то ведь, чую, ни мне, ни тебе, да и Диме твоему, видать, дожить до него не посчастливится».

И, цепляясь за бурьянины, заткнув за пазуху кепку, старик закарабкался по глинистому склону на самую верхотуру, повел меня к одинокой грушенке-дичке, знакомой мне с раннего детства, да и всей нашенской ребятне, своими мелкими, но, если потерпеть до октября, когда улежатся в палой листве, вкусными плодами. Смолоду у отца привычка: рассеивать повсюду семена яблок и груш, косточки слив и вишен. Видать, и это дерево — его рук дело, иначе откуда бы оно и взялось в таком отдаленном от деревенских садов месте.

Еще издали, на подходе к грушенке, смекнула я, в чем дело. Над деревом стоял спокойный монотонный гул.

«Все ясно! — подумалось мне, — отец обнаружил пчелиный рой, драпанувший с чьей-то пасеки и присевший передохнуть».

— Не-е! Ты полюбуйся, полюбуйся! Свободный народ! Надо же, рассмотрели себе дупло, обустроились и поживают. А и правда, чем не коммунизм? — читая мои мысли, опередил отец.

— А при чем тут коммунизм? — подивилась я.

— Как при чем? Что ж тут непонятного? Вот ты сама подумай: строили мы, строили светлое коммунистическое общество, и наконец, что и успели было наладить, сломали. А самое главное, никто не несет за то порушенное никакого ответа.

— При чем же тут пчелы?

— А при том — в отличие от нас, людей, пчелы отличаются высокой организованностью. Каждое насекомое четко знает свою работу и обязанность. Среди них есть и медоносы, и рабочие, и матка, — отец сел на своего конька, — у пчелиного общества такого краха, как у нас, вовек не произойдет. Ведь все до мелочей, нам в пример, продумано: сформировано крепкое чувство семьи, коллективное проживание, групповая добыча пищи, заготовка ее впрок, забота о потомстве, защита матки, наконец, как я уже говорил, разделение труда. Настоящий коммунизм?

— Сдаюсь! Сдаюсь! — улынулась я на доводы отца, рассматривая удивительное пчелиное жилище на расстоянии, слышала: дикари такие злющие, не дай Бог! Заедят, защищая свою коммуны.

Перекусив на скорую руку и прихватив кое-что из съестного на потом: разрезанные вдоль и натертые солью пупырчатые огурчики, пяток утомленных, духовитых яичек, густо обсыпанные чесноком и перцем, с щедрой прорезью кусочки сала, — наостраемся в Плоцкий лесок. За ягодой.

Раньше-то лесной малины в наших местах вовсе не водилось. А вот, поди ж ты! Лет, почитай, с десяток, как заполонила она окрестные урочища и боры, кустик за кустиком, и красная, и желтая — расплодилась, разгулялась от оврага к оврагу. Видать, птицы из Дмитровских лесов занесли. Ведь до малинников Дмитровских им — пара-тройка перелетов. А там ягодки этой вкуснющей — пропасть!

И вот мы топаем Глиняной дорогой. Все вверх и вверх, до самых рощиц. Мимо сизых, пошуркивающих на утреннем ветерке, диких овсов, мимо все еще заспанного, утонувшего в росных кукушкиных слезках подсосенника. По обочине нам навстречу катятся желтые-прежелтые, аж до рези в глазах, шары сергибуса, насквозь пропитанные солнцем и восхитительным духом июльского раздолья.

Попробуй откажись от такого лакомства! Срываю молодые, не успевшие выбросить соцветия, ломкие лабегги. Барашками снимаю с них нежную, прозрачно-малахитовую кожицу. И, вспомнив детские походы за диким луком, щавелем и сергибусом по игинским горам и долам, с удовольствием нахрустываю сладкий, сочный стебелек.

А войдя в Плоцкую лощину (лес, по правде говоря, в ней никудышный — заборник да прясельник), под завяз заполоненную малинником, так увлеклись, что не заметили, как разбрелись с отцом в разные стороны. Аукай, не аукай — не докричишься, не дозовешься — растворились, окунувшись в непролазные пахучие дебри. Заплутали в малинниковых чащобинах, почувяв себя единым целым с этим затерянным в центре Орловщины миром, с этими полянами, сияющими розоватыми березами, с сопроводившим нас от околицы до самого леса хозяином нашеньских окрестностей — гордым красавцем стрепетом, да и с самими, непостижимо высокими, фиалковыми игинскими небесами.

Ягода — одна другой крупнее. И тьма-тьмущая! Но подготовились мы основательно, корзины, а у нас их аж по две, легонькие, из тончайшего тальника, наполняются на глазах.

Увлекательное это дело — собирать малину. В погоне за самой спелой, за самой лучшей можно забрести Бог знает куда. Так и ненароком заблудиться ничего не стоит.

Берешь ягодку за ягодкой... уже ни времени не ощущаешь, ни места. И душа в этом сладком раю, наконец-то, от забот, от дум тяжелых отдыхает, ведь за доброй ягодой, как у нас говорят, и сам себя не помнишь, в детство впадаешь.

Почему так бывает? А все очень просто — в окружении Вечной Природы в голову не может прийти и мысли, что сам ты не вечен, что жизнь твоя сравнима с мгновением, и верится: коли ты часть этого Великого мира, то и сам ты пришел в него навсегда. И все в твоей жизни обязательно наладится.

Сладкие воздуха над лощиной струятся едва-едва. Лениво перепар-

хивают какие-то забавные пичуги, наверно, малиновки, иным здесь и не место. С луга, с низины доносится протяжное мычание. Это гнездиловские пастухи украдкой с утраца травят нашу луговину. Раньше бы, при колхозе, не осмелились, а теперь — вольному воля.

Щелканье кнута и залихватский свист подпaska возвращают меня в реальный мир, и я наконец-то замечаю, что корзины — полны-полнехоньки. Теперь можно и горсточкой-другой полакомиться, на посошок. Привычка у меня такая — пока не наполню посудину, ни одной ягодки в рот не кину.

Знаю, отца теперь не сыскать. В свои восемьдесят с хвостиком, пока я топталась на пяточке в Плоцком, он в поисках самой наикрупнейшей ягоды, конечно, успел побывать и в Савином логу, и в Ярочкином, и в Закамнях. Наколеси-ил! Все надеялся: в следующем перелеске малина — куда отменнее той, что уже повстречал.

На обратном пути, когда уже и забыла от усталости, куда и зачем шагаю, выйдя к росстаням, обнаруживаю моего старика, спящего в овсяннице под корявой, изломанной грозями, лесковкой. Соломенная шляпа его — от назойливых мух и слепней — сдвинута на лицо, тут же, обочь, — корзина ягод — вперемешку все, что попадалось: и запоздалая, видать, из самой глуши, темно-бордовая земляника, и уже в подсушенных чашелистиках луговая клубника, ее у нас в Горонях, по откосам, видимо-невидимо, не обошлось, конечно, и без малины, только по ягодке видно — розоватая, не как в Плоцком — длинноноса, а ровная, кругленькая, знать, добрался-таки отец и до своей заветной куртинки в Закамнях.

Другая корзина полным-полна молоденьких сыроежек. Грибок этот ломкий, до дома, поди, донеси. Обычно, хоть и сладка сыроежка, у нас ее не берут, в крошево изломается и на жареху не набрать. Но на этот раз отец не устоял, соблазнился: молоденькими синими, розовыми, зелеными, белыми, какими-то серо-буро-малиновыми однодневками-сыроежатами переполнил корзину, борта ее даже пришлось нарастить листьями папоротника. Красота, да и только! Если не присматриваться, — грибочки настолько ладненькие — почудится: в корзине пасхальные крашенки.

Отец просыпается и, загадочно улыбаясь, вынимает из-за ствола яблоньки пронзительный, синий-пресиний букет лесных колокольцев. Знает, что с детства обожаю эти самые чудные создания игинских лесов. Крупные, под стать садовым, порою встречаются и белые, они буйствуют в наших лесах испокон веков, слава великолепием землю среднерусскую, вызванивая своими бубенцами ее тихие, скромные напевы.

При всей суровости крестьянской жизни, отец, на удивление мужского населения Игино, всегда выкраивал время на «красоту» — дома этим занималась мама: подоконники заставляла горшками с бальзаминами и геранями, фиалками и плющами, а в палисаде у отца с первых проталин до октябрьской пороши бушевали тюльпаны, пионы, жасмины, сирени, флоксы и Бог ведает какая еще замечательная растительность, не говоря уже о вездесущих зарослях мальв, с которыми не надо носить-ся как с писаной торбой — радужным разноцветьем осыпают они самосевом самые отдаленные уголки нашего сада.

Все-таки молодец мой старик! Такой выносливости и жизнелюбия можно только позавидовать! Вместо того чтобы отправиться домой кратчайшим проселком, отец потащил меня, не тяготясь снопом зверобоя, стянутым тугим перевяслом, по бурьянному краю Хильмечков. И все только ради того, чтобы показать место, окуп, где в девятнадцатом крас-

ные бились с деникинцами, где он не раз находил и штыки, и патроны времен гражданской войны.

Пробежав по лесам несколько часов кряду (а какой он, говорят, в молодости был, какая удаля!), старик может без передыху толковать о временах былых, от них переключаться на нынешние, снова возвращаться, сравнивать, предполагать, размышлять о том, что ждет нас в недалеком будущем, прикидывать на пять десятилетий вперед. Мол, не может того быть, чтобы эдакая махина, край наш Орловский, похерился на веки вечные. Придет час, не знаю, когда то случится, но обязательно, как птица Феникс, дождется и он своего рассвета. Рано ли, поздно ли объявится для землицы нашей мудрый оратай, возродится из пепла глубинная российская деревня.

Что мы за люди-человечиски такие?! Земля не скупится, щедро одаривает нас самыми лучшими своими дарами, а мы, не умея ими распорядиться, не дорожим, попользуемся — и в отбросы. Страшно подумать, — сотни гектаров пахотной земли — в отбросы, в бурьян! Можно по-разному относиться к Сталину, но, думается мне, при нем о таком обхождении с землей и помыслить было невозможно, за такое, мягко сказать, бесхозяйственное отношение к ней, наверно, как минимум, светила бы Сибирь.

В крови у мужика дума о поздне... Века владел землею пахарь, а она владела им. Извечна на нее и надежда. Крестьянину без земли — никуда...

Суда по положению дел в нашей округе, навряд ли отцу на его веку посчастливилось дожидаться заветного часа, когда снова, как встарь его пращурами, раскорчуетя от березняка дородная рожайка — игинское поле, пойдут гулять под ветром ржаные-пшеничные волны.

Но вера старого хлебопашца незыблема, и мне она не позволяет даже на миг поколебаться в том, что время перемен не заставит себя ждать, потому что иначе человеку и вовсе не сдюжить, без надежды никак нельзя, сама жизнь есть извечная надежда, не стань надежды, что и делать-то человеку на земле?

А неугомонный старик уже ныряет в приопушечный сосняк, тащит меня взглянуть на «муравьиную деревню». И впрямь, в дремучей папороти, словно по шнурке, в два рядка выстроились две улочки: старые, высоченные муравейники, с налаженным, упорядоченным бытом, и хатки пониже — видать, новостройки, на которых все идет чередом — суетится, хлопочет, ни минуты покоя, мелкий лесной люд.

— Тоже жизнь — свои надежды, свои заботы... Поколение за поколением... все спешат, торопыги, — отец опускает былинку на кишачий шустрыми жильцами муравейник, и те облепливают ее, оседлав, тащат куда-то это «бревнище», пытаясь его тут же приладить, пустить в дело, на подлатку своей хатенки. — Жистюшка ихняя, почитай, мгновение от нашей, воробьиный порск, а вот, поди ж ты, тоже по-своему стараются, карабкаются. Ведь самое легкое — умереть, а вот выстоять, измудриться выжить — куда посложнее будет! И вообще — дело ведь не в том, сколько лет, десятилетий проживешь, а в том — как... Крути-верти, а правы древние мудрецы: жизнь долга, если она полна. И измерять ее надо поступками, а не временем.

С раннего детства, сначала неосознанно, а с возрастом — с понятием, наблюдала я, присматриваясь, дивилась умению и жизненной стойкости отца, его крестьянской, житейской мудрости. Так же и сейчас, в пору моей зрелости, нуждаюсь я в таких вот неторопких беседах с ним об обы-

денном, каждодневном и вместе с тем совершенно необходимым, наиважнейшем.

Отлучаясь надолго, день ото дня начинаю испытывать голод и тоску по общению со своим стариком. Надо же! Имея немалый жизненный опыт, до сих пор не обхожусь без всей той премудрости, что успел он накопить за свои восемь десятков, что передалось и сохранилось в его цепкой памяти от пращуров нашего рода-племени.

Без этих драгоценных выжимок, многовекового опыта, на котором выстроилась жизнь моего отца и людей его поколения, кажется, и мне бы не сдюжить. И я снова и снова, изголодавшись, возвращаюсь на Мишкину гору, к родимому порогу, чтобы укрепиться духом, подпитаться (как когда-то в далеком младенчестве материнским молоком) воздухом моей позабытой правителями родины, настоящим на великом трудолюбии и чести, нестигаемости и неопровержимой правоте.

4

Вот ведь как порою получается? Бродит человек по свету, все ищет, чем бы пробиться, по пословице, где лучше. И то ему — не то, и это — не это. Намыкается-а, прежде чем докумекает, что далеко и ходить-то было незачем. Что лучше выколосившегося спелыми травами Плоцкого луга? Этого, в росных подорожниках и лютиках Глиняного проселка, горьковато-кислого, но полубожившегося еще в детские годы вкуса приобоченной лесковки? Разве сыщется что-нибудь желаннее щедро отхваченного выевшимся, с резной деревянной ручкой, ножиком ржаного ломтя от бабушкиной краюхи, сдобренного постным маслом и крупного помола солью? Или в горнице и сенцах — слаще духа молодых березовых ветвей в ясное Троицыно утро, а к вечерней заре — отраднее перегида и вжиканья майских хрущей на подгорье, в только что выкистившихся черемуховых зарослях?

Заботливое неумолчное квохтанье клуши Рябки, около нее — журчащий ручеек писклят, песня второй с левого боку крылечной половицы, негасимое белое полымя ночных мотыльков у амбарного фонаря, выстланное пересохшей полынью бездонное нутро материнского «приданого» сундука, звенящие мелким бисером, поросшие кукушкиными слезками поляны в Ярочкином логу, вкус и аромат молодого снега, а с ним по первопутку и морозная алость дикой ягодки-калины из Савина урочища, ловля голыми руками по новолетию в парном ручье Желтом вихлястых гольцов...

У каждого в запасе, если хорошенько покопаться, сыщется сотня-другая подобных, простых, но таких родных и дорогих моментов, вещей, запахов, вкусов и ощущений — истинно бесценных сокровищ, при воспоминании о которых тает сердце, а в душу проливается такое тепло, такой свет, что однажды до дрожи окатывает, наконец-таки, понимание: вот оно — и не надо было бегать по свету, наматывать версты, не так уж много человеку и надо-то — с самых пеленок все, что тебе необходимо в жизни, что делает тебя наисчастливейшим на свете человеком, и было оно с тобой рядышком, только ты почему-то этого не замечал, совершенно не ценил.

Правда, переоценка эта происходит лишь после того, как помыкаешься по чужим краям, чужим дорогам, чужим жилищам, когда пресытишься и устанешь от «достижений цивилизации». Вот тогда-то для тебя и

настанет момент истины, тогда-то вдруг осознаешь, что, оказывается, запах цветущего укропа или подсолнечника с отцовской бакши в тысячу раз дороже аромата охапки всех вместе взятых голландских роз, подаренных тебе за все годы жизни. И ни одна прогулка в самом комфортабельном автомобиле по глянцу превосходной автострады не стоит поездки на колтыхающейся телеге сквозь розовую марь и ядреный туманец, сквозь места привольные, в поросшие вековыми дубами и лещинником наши сенокосные Гороня.

А последние годы дома, в Игино, со мной стали происходить вообще какие-то странные странности: вдруг ни с того ни с сего стала я теряться во времени, точнее, совсем о нем забывать: какой день, какой год, какой век — безразлично. Просто погружаюсь, окунаюсь, ухожу с головой в окружающий меня, покинутый цивилизацией, обретший свою девственность мир.

Живу почти натуральным хозяйством и горя не знаю. И, как ни странно, совершенно не ощущаю себя несчастной из-за отсутствия Интернета и прессы, благо библиотека в родительском доме всегда была достойная. И, что самое главное, — есть множество моих любимых авторов, которых я могу перечитывать бесконечно, дивиться очередным своим находкам и открытиям на их страницах...

Ласточата пицали в лепной хатке над нашим кухонным окошком, то занудно пели осы над шлепнувшимися, разбившимися в крошево ранними грушовками, тянуло медом от солнечно-рыжих календул, то сквозь тюлевую дырчатую кипень виделось, как осыпались маковым перламутром на кроны сада ласковые лепестки летнего заката... А может, рассвета... Время растворилось во мне, а я — во времени.

Правда, это не мешало мне помнить, что отец рядом: пудрит ли золой от глумящихся гусениц капусту, обметает ли метлой затканые пыльной паутиной с застрявшими в ней сухими мухами подслеповатые оконца сарая, ладит ли покосившуюся калитку, пытается ли отвадить промышлявшего в куриных гнездах каналью-кота. И все разговаривает, разговаривает: со мной, развешивающей на протянутой вдоль сада веревке располоканное на омутке белье, со вконец обнаглевшими пакостницами-гусеницами, продырявившими насквозь озимые кочаны, с потерявшей всяческую память, совсем прогнившей калиткой, с хоть и посаженным под корзинку отбывать наказание за неумный прожорливый нрав, но дерзко артачившимся котом Дармоедом, требующим выпустить его на волю-вольную.

Когда старик мой предается своему любимому занятию — обрядившись в сетку, ныряет с дымарем под яблоньки и забывается в кругу своих зундящих друзей, которые к полудню, ярься и сатанея, не дают проходу по подворью никакой живности, мне, наконец-то, выдается минутка, не обижая отца, побыть одной, я ухожу бродить в поля...

А однажды откуда-то наехали незваные гости — уже ушедшее в отставку, но все еще помнящее отцовское хлебосольство, привыкшее погулять на дармовщинку какое-то районное начальство. И отец засуетился, он радуется любому, заглянувшему на его хутор. Угощал новолетним медом, огородиной и садовиной. Не обошлось и без свойской сливовицы.

Нагостевавшись, наточивши балясы, отяжелев донельзя, залетные отъехали, и мой старик, размягчившись, только тут дал слабинку: заговорил о покойнице-маме, привсхлипнул, не просил, а требовал похоро-

нить его, как преставится, на Ишкином бугре, потому как «с корня своего» он, даже мертвый, не делает и шагу.

В этот вечер не спалось, хоть тресни. Угомонились далеко за полночь — старик, расчувствовавшись (еще умеет плакать), стал куда разговорчивей, и в сотый раз пришлось мне терпеливо выслушать, хоть и память отца не подводит по сю пору, но уже со все новыми, порой совершенно противоречивыми оговорками и добавлениями, житие ушедших и где-то, за пределами нашей деревушки, еще здравствующих малочисленных моих земляков.

За чаем, не из какой-то там сеной трухи, из игинских трав, можно просидеть и несколько суток, не то что короткую июльскую ночь. В нашем окруженном густым туманом доме, под неспешное тиканье ходиков сквозь рассказы старика, знающего всю подноготную про здешние старые годы, меж тем прокатилась история не одного поколения русского двухильного крестьянства. Не по одной жизни он прошелся: сменялись, мчали, словно с горы на салазках, века, шумели, гроыхали войны, рождались, пищали дети, игрались с размахом свадьбы, тихо отходили в мир иной игинские мужики и бабы, разъезжались по всему белу свету, несмотря на дедовские завещания, потерявшие крестьянское терпение дети — не собрать уже ни на Пасху, ни на Радуницу, ни в Родительскую субботу.

К утру расслабившийся, позабывший границы своим чувствам отец угомонился, видать, наконец-таки, набил оскомину, сладил с тем, что долгие годы в нем накапливалось, выговорился. А я с переполненной его былями и небылицами душой глаз уже сомкнуть не смогла. Кликнула Дружка, готового по велению своего авантюрного, бродяжьего нрава в любую минутся ринуться навстречу закалиточным приключениям и похождениям. И мы, скатившись в пойму ручья Желтого, по ранней прохладце поднялись к его поросшему белоусом, осокой и стрелолистом истоку, ушли аж к Закамням.

А там, вскарабкавшись на косогор, заполоненный вошедшими в расцвет своей жизни рыжебедрыми соснами, обустроились на одном из самых красивущих нашенских местечек: внизу поблескивает, пожуркивает в омшелых валунах Желтый, из строевого сосняка тянет не опекившись на солнышке, не обрюзгшими еще, сочными маслятами, а дали, до самой Кромы, до еще закутанных в дымку Гавриловских садов (где нет уже тоже ни одного-разъединого домишки, в разор разорились, а жили там когда-то хозяева справные, теперь же — только заросли собачника, болиголова, молочая да жабника), дали те уходят и до уже помымыкивающего, просыпающегося Старогнездилова, — сини и лиловы от выплеснувшихся луговых колокольчиков и липок. А на противоположном угоре, за ольшаником и вербачом, — рощица. Березовая-а! Увенчанная золотыми, пронизанными солнцем шатрами, словно церква куполами.

Частенько на выставках картин у дочери спрашивают, мол, где это она отыскала для своих пейзажей такие красоты. «И ходить-то далеко не надо, — улыбается Аня. — Места исконно русские, Орловщина, моя родина».

Отойдя порядочно от деревушки, обустроившись на подвальной вешними ветродуйными грозами березе, — вся округа на ладони — просидела я, глядя на разгорающийся день, почти до полудня. Но даже под лучами восходящего солнца невозможно было согреться, мелко знобило. То ли из-за отцовских вопоминаний, ли из-ка поминутно сменяющихся, один за

другим, образов игинских мужиков, с их домочадцами, с их крестьянскими судьбами, а может быть, от невыносимости ощущения, мысленного и созерцательного, обезлюдивания, опустошения этого одного из живописнейших уголков России, которым бы гордиться и гордиться, лелеять и холить его земли, беречь его пахаря. Как не возникнуть на сердце полойной горечи?

И вдруг я снова обрела время, словно из какого-то провала четко выплыло: лето 2015... Если уже сейчас на многие версты — ни души... Волком взвоешь! Что же будет с моей землей дальше?.. Не чужак и приبلуда на этой земле, потому и захлестнули мучительно-неизъяснимые горе и обида — ничего и никого уже не воротить, время набирает ход, устремляется вперед, и только вперед, ни тормознуть, ни тем более остановиться.

Еще десяток лет — и прощевай! Осыплются прахом, как сгорают к Покрову игинские леса, стены последних хуторских домишек, порастут дурман-травой да глухой крапивой, словно никогда ни хуторка Игино, ни самого села Кирово Городища и вовсе не бывало. Запропало Божье место!

На подступах к Копытцам заворковало, небо там, вдали, стало набухать и из ясно-фиалкового обернулось в сизо-сливовое. Облака, словно диковинные, голодные звери, принялись перелайваться и ринулись напоздать на Игино. Дружок держит ухо всегда остро, не кутенок молочный, — пригасил радость, зачуяв неладное, первый рванул без пути с откоса, гроза для него, уже проверено, самое разнелюбое дело, такое, что просто не приведи Господь.

Хлесткие капли не остудили разгоряченных мыслей моих, а наоборот, подтолкнули, дали волю накопившимся слезам. Порывы ветра и ливень перекрывали мои рыдания. О канувшей в Лету русской деревне, о по горло засыпанном роднике, о роде-племени моем, о себе ли, о потомках ли надрывалась моя исхворавшаяся душа?

5

На крыльце стоял густой запах вошины. Отец, как ни в чем не бывало, неторопко, без суеты, со знанием дела (на руку еще крепок, движения отглажены и отшлифованы временем), отодвинув к краю стола мамины бальзамины, готовил свежие рамки (первые, как обычно, к Престолу, Сергову Дню, откачали). Несколько пчел спокойно-натруженно ползали по стеклам, мирно кружили под потолком. Казалось, старик настолько увлечен своим любимым занятием, что вовсе не слышит разбушевавшейся природы, все у него идет обыденным чередом.

Отцовский душевный покой и прямота сердца, да еще домашний лад опять сделали свое дело: через пару минут, переодевшись в сухое, я уже отходила под его спокойным, ясным взглядом, слушала его мягкое журение, мол, надо же было в такую даль забраться, ай забыла: на носу Ильинки, без сапог и плаща — со двора ни ногой.

Конечно, от него не ускользнули мои покрасневшие глаза, припухший нос, но старик мой, хоть и охочий на речи, настолько мудр, что, когда надо, чтобы не попасть впросак, может себе позволить не задавать лишних вопросов, не лезть ко мне в душу.

А о чем спрашивать-то? Давно и все насквозь отец обо мне пони-

мает и знает. И не только обо мне. Порою кажется, что с годами ему все больше постижимы не каждому ведомые откровения. Обладая большим багажом знаний, имея за спиной нелегкий крестьянский опыт, на склоне лет — восемьдесят первый на Рождество разменял, — хранит он в своем уме и сердце что-то такое, чего мне пока не постичь, до чего я еще не дошла, а может, и вовсе не осилю до этого, наиважнейшего, дотянуться. А так хотелось бы! Мне бы его уверенности! Чтобы и мои дети рядом со мной обретали равновесие, чувствовали во мне опору и надежу. Можно сказать и так. Но самое главное — чтобы во мне копилась год от года, не проскользнула мимо моей души мудрость моих пращуров, чтобы по силе было мне не растерять ее и передать своим детям.

Последние порывы дождя задохнулись, сшуркнули по макушкам кленов, скатились в пойму, затарабанили по Свободновскому полю, накинулись на притихшую деревеньку Выдумку. А прямо над игинским полем, зацепившись, словно за гвоздик, за солнечный лучик, повис расшитый пестрющими мулине рушник. Один конец его утирал промокший до ниточки Ярочкин лесок, другой канул самотеклом где-то за Хильмечках, на росстанях.

С улицы пахло матиолой, цвигикали ласточки. От земли поднимался пар, искрились умытые кусты и травы.

Увлекаясь какой-нибудь работой, отец любит напевать, скорее, намурлыкая себе под нос. Вот и сейчас, чтобы не дай Бог не соблазниться запытать меня вопросами, он завел «Самару-городок». Всем своим видом старик показывал: хватит-де кукситься, словно выпила вчерашний чай, надо жить! Жить взахлеб! Делать обыденные вещи: радоваться окончанию ненастья, позвонить детям, дозваться, наконец, их в гости, перечитать для отрады души еще разок носовскую «Луговую овсяницу», закончить начатую повесть. Да мало ли дел накопилось и еще соберется впереди.

С крыши сбегали последние струйки, рассыпались, бились в мелкие склянки об утрамбованную стежку, о прикрылечный каменный порожек. Но в воздухе не ощущалось сырости. Высветлилось за окнами, просветлело на душе, снова коснулась окаменелого сердца моего благодать Божья. Вызолотилась необычно легкая тишина, только в лужах радостно чупахались мокрые воробьи и голуби.

Повязав миткальную косынку, выпорхнула с крыльца, увитого завитушками дикого винограда и лиловыми венчиками повителя, прошлепала в резиновых полусапожках по шумному потоку, несущемуся через наш двор с маковки Мишкиной горы мимо уже воспрявших от ливня темно-зеленых шаров задичалых гортензий, за расшагаканные ветром ворота. Сдернула с веревок растерзанное ливнем, обвисшее — тряпка тряпкой — белье. Некогда в кулак зевать, охать да в затылке чесать — срочно переполюсать!

И еще — перемыть полы и окна, наварить зеленых щей (под угором приметила: отавой молодой щавель облистился), затеять из «вальцовки» к Спасу яблочные пироги.

И вообще — после уборки картошки, по Бабьему летцу, пока будут вставать погожие зори, перетряхнуть узелки с житейским добром, поменять бы обои, подмазать надтреснутый печной зев, подкрасить потускневшие резные наличники и рамы... Наконец, отослать сыну, укатившему два месяца назад во Вьетнам, недавно написанное письмо:

Летаешь по белому свету
И сам не знаешь, что ищешь.
А в Кирово — Царское лето,
В прадедовом Городище.
А в Кирово — вновь сентябрины,
И градом — терень по крышам,
И горечью спелой польни
Проселочный ветер вышит.
Ах, брось ты забаву эту —
Искать где-то за морем долю.
Дороже, поверь мне, нету
Рожавшего хлебушек поля.
Приедешь, и по теплыни
На сене в сенях заночуешь.
Здесь, на мужицкой перине,
Всю память землицы почувешь.
Подшалком полночным, сурьянным,
Укроет затихшая ночь,
И птица-тревога в бурьянах
Вскричит, басурманская дочь.
Столетия помчатся, засвищут,
И в сон переплавится быль:
Горит над Кромой Городище,
И кровью кропится ковыль.
А враг — несметною тучей,
И края-конца не видать!
О, сын! Несгибаемый русич!
Тебе ли к седлу привыкать?..
Я слышала: ты до рассвета
Сражался, не чуя боли...
Ах, брось же забаву ты эту —
Искать за морями долю!

КРЫЛЬЦО ДЛЯ АГРАФЕНЫ

Бой местного значения

1

Сколько Маша помнит, Аграфена Петровна, а по-уличному — баба Груня, всегда мелькала перед ее глазами. Грунина избенка через дорогу от дома родителей, крылечком на их горницу смотрится. Вся немудреная жизнь старушки для соседей — как на ладони.

Маша не знала ее молодой, для нее она во все времена — баба Груня. Говорят, красавицы такой на пять деревень было не сыскать. А сейчас — старушка как старушка: седина, морщин на лице, что борозд на распаханной бакше. Но посмотрит порою из-под уголка ситцевого платочка так, что невозможно не углядеть сквозь не поцадившее время ее белую красу.

Замужем она никогда не была. Не успела. Степан Фролов, с которым два года хороводилась Груня, попал в плен где-то в Белоруссии на втором месяце войны, бежал, сгинул уже в наших лагерях. Девчонку, подружку Машиной мамы, она в сорок восьмом прижила. От Сергея Трифонова. Их, фронтовиков, тогда и вернулось-то всего ничего. На десять баб — один мужик в колхозе. А потому закрывали глаза счастливые, те, что дождались своих, на приспанных от их мужей ребятешек.

Продолжив пятьдесятков лет, прометавшись по тырлам от одного вымени к другому, с ранней зари до густых звезд без продыху, бедная Грушечка не заметила, как опала, словно маков цвет, ее невестребованная краса.

Дочка Любушка укатила с мужем по вербовке на Крайний Север, где-то, аж на Шпицбергене, на шахтах, «стригла длинные рубли». А дочку свою, Машину подружку Лизу, подкинула с трех лет в карман замусоленного Груниного фартука.

Приблизительно с этого возраста Машу с Лизой не разлить водой. Живут давно в городе. Обзавелись семьями. Но это не мешает им регулярно перезваниваться и даже иногда посидеть, поболтать на кухне за чайком.

Неделю назад встретила Машу Лизавета. Расстроенная, сама не своя.

— Бабу Грушу в деревне забижают. Прямо не знаю, что и делать, упрямится, ко мне не съезжает, — поделилась подруга.

— Всю жизнь сама себя защищала, а теперь не справляется? Видать, сильный противник объявился.

— Не то чтобы сильный... Хитрый и подлый.

— Это чего ж ему от Грушечки надобно?

— Помнишь Ваську Рябого? Распузатил на безнадеге стариков. Новый русский, черт бы его подрал! И жена ему под стать. Фельдшерница с нашего медпункта.

— И чем же им твоя баба Груня помешала?

— Магазин надумали на месте ее хаты ставить. Земли им, живоглотам, на деревне не хватает.

— А бабку-то куда?

— Куда, куда? В Богдановку! В дом престарелых! Говорила я ей!.. Дождалась старая, докапризничала... Позор на мою голову. Фельдшерница оформить надумала как «бесхозную»!

— Надо бы съездить, разобраться.

— Была уж... Да куда там! Все, кто при силе, Васькой прикормлены. Попробуй, поищи правду!

— Не паникуй. наших соберем, нагрянем к выходному, застанем врасплох.

2

И нагрянули. Лиза с домочадцами, Мария со своим семейством, сманили еще одну подругу с двумя сыновьями. На серьезное дело собрались и народу прихватили побольше, для весомости делегации.

Перво-наперво с утречка отправились к Ваське Рябому потолковать, на лучшие струнки его души повоздействовать. Но, видать, таковые в его потемистой душонке напрочь отсутствуют, а коли и есть, то зарылись глубоко-глубоко, чтобы совесть своей трогательной музыкой не будить.

Новенький Рябовский домина на отшибе, на Заречном раздole красуется. Огороженных угодьев — на хорошую деревню. Помещик, да и только. Видать, заметил Васька их издалече, а может, сарафанное радио еще с вечера сообщило, только до порога парламентариев Рябой не допустил, у ворот полчаса продержал. Два сытых, аж бока лоснятся, ротвейлера и калитку открыть не позволили. Правда, выглянул Васькин холуй, Тимка Вертявый.

— Кого надо? Шляется тут ни свет, ни заря. Отдыхает еще Василь Григорич, воскресенье. Не велено рано будить.

— По важному делу мы. Подними Ваську-то.

— Сказано: не велено, значит, не велено. Знаем мы ваше дело! Ишь, чего удумали! На кого прете? — и лягнул засовом.

— Вот и пристыдили, вот и потолковали, — повторяла всю обратную дорогу всхлипывающая Лиза.

— Погоди нюниться, что-нибудь обязательно придумаем, — не сдавалась подруга.

Под вечер назначили на Грунином крыльце совет.

— Предлагаю назвать его, в связи с предстоящими военными действиями на Рябовском направлении, «Совет в Филях», — объявил Лизин сын Виктор.

— Тебе бы все шутки шутковать, а бабу Груню скоро в богадельню силком спроводят, — осадила та сына.

3

Давным-давно Грушеньке как одиночке постановил колхоз срубить общими усилиями небольшую четырехстенку. Опасались, что придавит их с маленькой дочкой рассыпавшееся отцовское жилье. Хатка получилась крошечная, но Грушенька поднатужилась и уже на свои кровные через пару годков приладила из мелкослойной сосны вдоль двух стен просторное крыльцо. С его появлением Грунина жилплощадь раздвинулась, со стороны казалось, сама хата раздалась.

Под общей кровлей с избой притулились амбар и сарайки. Все хозяйство — под рукой. Уютный Грунин дворик, как и сама хата, любовно обихаживался: всегда выметен, прибран, словно завтра Престол-день.

Всю теплую пору хозяйка проводила на крыльце. В дальнем застекленном конце его Груша свостожила топчан, укрыла постилками и, отгородившись ситцевой занавеской от комарья, коротала душные летние ночи.

Не один год любила она на этом крыльце со своим Сергеем. Прикипела к нему накрепко, но сойтись не сошлась. Как при живом отце трех ребятшек осиротить? Но и самой бабьего счастья хотелось. А потому — давно поделила она с соседкой Зинкой, Сергеевой женой, своего любимого. Деревня знала об этом, и, как часто бывает у наших баб, то кострошила «бесстыжую» Грушку, то до слез жалела горемышную.

Грунина хата до самых дальних укромных уголков известна Маше наизусть. Десятки лет в ней ничего не менялось. Запратанная было за ненадобностью на чердак люлька — и та с рождением внучки снова водрузилась на привычное место. Обстановка избы не привлекала ничем особенным. По-крестьянски просто. Лишь расшитые особым, убористым, крестом занавески, скатерти и подзоры выделали ее изо всей деревни. На белые холстины розовой повитью, синеокими васильками да кипенными ромашками выстилала-выплескивала Груня свою одинокую, с редкими, краденными у подруги-соседушки, минутами горького счастья, нескладную судьбу-судьбушку.

С трехлетнего возраста исползали Машутка с Лизушкой широченные, укрытые домоткаными полавочниками, намертво прилаженные к стенам лавки. Меж их ножек-стамешек были устроены задвижные дверцы, превра-

тившие лавки в лари, где Груня хранила всякую всячину. Боковинку под левым окном хозяйка держала за прялку, наготовившая за зиму с двух своих ярков пряжи и на свои «неслушные» ноги, и на посылку-другую в северные края дочке, и внучонке, и соседской девчужке на носки-варежки.

Несмотря на запреты бабы Груни, вставая на цыпочки, неслушные девчонки обследовали многоярусные полки над лавками. Перебили у припечки не одну тарелку из резного открытого шкафа-блюдника. Заползали даже (и не раз!), подставив табуретку, в Грунину печь, разыскивая то припрятанные к ужину медовые гарбуза, то сковородку с зарумяненным белым наливом.

Справа от печи громоздилась подклеть, в которой зимой бляели девчоночьи игрушки — шаловливые, как и они, козлята. А с другого боку дед Сергей сладил деревянную столешницу для стряпни. Чего только на ней не громоздилось! И чугуны-чугуночки, и солонки-сахарницы, и ковши-махотки.

Последние годы Маша все реже забегала к бабе Груне. Когда тут! Прилетит к своим: то постирать, то прибраться, то приготовить! И переделать все не успевает. Постоянно точит мысль: «И то бы надо подладить, и это зашить-заштопать». В неоплатном долгу до конца жизни перед родными.

Повстречает бабу Груню у ворот, раскланяется и опять спешит-торопится на свое подворье. А ведь в детстве не проходило дня, чтобы за бабкиным столом земляники с молоком не похлебала, блинчков ее поджаристых с укропным припеком не отведала. Совесьть-червоточинка буравит душу, как задумается Маша о судьбах стариков в глухомань-деревне: виноваты мы, еще многое могущие, еще здоровые и сильные, перед немощными и покинутыми. Виноваты...

4

Как и сговорились, к вечеру подтянулись на Грунин двор.

Показалось, с годами стал он теснее и еще меньше. Липа у ворот так вымахала, что до ее цветов, наверно, старушка теперь и вовсе не добирается. Бывало, подсаживала девчонок, чтобы липов цвет для чая обирали. Скамейка у калитки прозеленилась, замшелась. Видать, редко на ней Груня теперь сидит, все больше на печи.

Всегда опрятный дворик заполонил анис. Словно обронила Грунюшка, поспешая ранней зорькой на дойку, платочек бело-ситцевый, да подбрать позабылася. Сад состарился и задичал. Медовки закислились, вишни-ягоды — измельчали. Лужок у калитки зарос полынь-травой. И прошла бы она ручку-другую, обкосила настырную глухую крапиву да лопухи, что наглым порядком по двору рассеялись, да куда там! Не до того ей... не до того... В заброшенном саду притулилась заброшенная изба, а в ней доскрипывает свой век заброшенная бабка.

Лишь в палисаднике под распахнутыми окошками по-прежнему простушки-мальвы, что девки деревенские, водят свои цветастые корогоды. И все так же черно-золотистые шмели, парни неотвязные, вьются подле них, нашептывают в молоденькие ушки ласки ласковые, наигрывают на несмолкающих невидимых жалейках до самых потемок свои немудреные напевы.

Хата бабы Груни еще полста отстоит, не подведет, а вот крылечко обветшало: и ступеньки подгнили — через одну, и стекла в паутинках-трещинках. Крыша ощерилась дранкой. Крыльцо заметно устало, приосело на левый угол, сгорбатилось, перила повываливались, расшатались, словно Грунины зубы. Гвозди совсем проржавели и еле удерживали доски, готовые вот-вот развалиться. Серо-перламутровая древесина застеклянена от солнца и дождей. На иссушенных боковушках-тесинках прорезались глубокие бороздки, шершавистые завитушки от сучков. Половицы рассохлись и стонали-ныли, даже если двухмесячный котенок Парамошка спрыгивал на пол с прогнившего чердака. Правда, иногда, ни с того ни с сего, мытые-перемытые крылечные полы начинали радостно чирикать, перенимая заливчатские напевы озорных синиц, стаями расселившихся в подзаборных репейниках. И тогда трещины на полувыбитых стеклах улыбались, складываясь в развеселый рисунок, а среди лопухов раскрывались удивительные лазоревые цветы. Но это случалось очень редко, когда отпускало скованную который год поясницу и «занигумливали» шишкастые болезненные руки старой доярки Грушеньки.

Слава Богу, дикий виноград прикрыл Грунин разор. Когда-то принесла Грушенька из соседней деревни небывалый у нас кустик, приткнула позади крылечка рядом с кадушкой, под самый водосток, да и позабыла, не выращивала, не ходила за ним. А дичок, знать, сырость любил, к месту пришелся. Как ударился в рост! До самой трубы вымахал и с каждым годом все буйнее оплетал Грунино крылечко.

Знойкими зимами рьяные ветра срывали пожухлую листву. Казалось, морозы вот-вот погубят его оголенные корни. Но подплывал апрель, и дикарек снова оживал. А с мая по самую глубокую осень радовал старушку развесистой кроной, терпеливо дожидаясь своего праздника, когда первые легкие заморозки распишут куст в такие сказочные цвета, что захватит дух.

Маша ступает на Грунино крылечко, словно не минуло несколько десятков лет. Те же половички, та же лавка с ведром ключевой воды и погнутым алюминиевым ковшиком.

Сидят за высокбленным столом. Груня суетится, гостей мятным чаем потчует.

Июньский вечер ласков и чист, не хочется вспоминать закавыки, из-за которой собрались на этом уютном крылечке. Не верится, что старый добрый мир может быть уничтожен ради жажды наживы.

Лиза не выдерживает, подталкивает к разговору.

— Ну, у кого какая идея? Выкладываете.

— Что тут придумаешь, кроме как взять над бабой Груней усиленное шефство, коли она в город съезжать не желает, — выдает Николай, муж еще одной подруги, Риммы.

— А чтобы дом не казался заброшенным, надо бы ставенки подправить, крылечко перекроить, крышу подлатать, одним словом, обиходить, — вставляет свое слово Грунин правнук Кешка.

— А ты сама-то что скажешь? — обращается Лиза к старушке.

— Дак, а что тут ответить? Коли так бы — живи не хочу, я и до ста потянула б, — улыбается баба Груня.

— Вот и ладненько, пока отпуска летние, сработаем бабульке крылечко, подсобим. Кукиш с маслом Ваське! Ишь, раскомандовался! Что хочу, то ворочу. Мы ему хотелку-то попржем. Мало чего ему вздумается.

Пусть на своей фазенде стройку разворачивает. Простор во-он какой! — подытоживает Николай.

— Да кто ж к ему в Заречку в лавку потащится? — замечает Груня.

— Вот то-то и оно. Бойтся, паразит, деньги на ветер выкинуть.

— А эдаким-то бесстыжим путем карман набивать не бойтся! — вспышивает бабка.

Мужская половина отправляется спать: завтра спозаранку в лес за сухостоем, в райстрой за материалами разными. Подруги по давней привычке приподняются на Грунином крылечке.

5

В вышине, словно пшенка, рассыпаются дробные звездочки. Раскапываются за звенящий неумолчными соловьями Черемуховый брод, за раздувшийся конопляник, до самой Кукорихиной околицы. Засмурневшие с заката небеса высветляются и линиями, стираными-перестиранными бледно-фиолетовыми косынками колыхаются на томном июньском ветерке.

Маша прислоняется к боковой стенке крылечка и замирает от тепла, передающегося ей от согретого за день родного, знакомого до каждой трещинки крыльца. Кипучая жизнь не позволяет сбавлять заданные ею темпы, а порою всего-то и нужно — теплым июньским вечером посидеть на ступеньках старого крылечка и хотя бы часок никуда не лететь, не мчаться.

У деревенских всегда так велось: любимое место отдыха после повседневных хлопот — крыльцо.

Ранней весной, когда стают сугробы и из-под них на свет Божий выползет крылечко, когда стихнет по округе предвечерний гомон, приятно притулиться на порожках и слушать, слушать, как в палисаднике на кусте махровой сирени щелкают-лопаются поспевшие почки, как где-то в невидимой дали чуть слышно разговаривают, ласково курлычут ищущие ночлег пролетные журавки, как засыпая потягивается, покряхтывая, престарелыми досками и перекладинами выдавшие виды крыльцо.

В сентябре тянет из сада дымком, спелой антоновкой. Крыльцо завалено полосатыми гарбузами, корзинами с огородной всячиной. Сорвешь на ходу терпкую гроздочку дикого винограда, прокатаешься-проскользишь по тронутым легким морозцем половицам и затоскуешь по канувшему лету, наблюдая с крылечной высоты за гуртующимися над долом птицами, за вьющейся в вишняке «богородичной пряжей» — паутинкою.

Зимой о бедолаге-крылечке почти забывают, разве что потопочут на нем валенками, пошмурыгают полынным веником, да в непогодь вывезят вымерзать на протянутой под самым верхом веревке постиранные половики. И стонут-попискивают половицы, жалуясь на выстуженное, улетевшее сквозь вечно распахнутую дверь тепло, на тяжесть сваленных в дальнем углу промерзлых березовых поленьев.

Маленький уютный уголок делает в любое время года более радостной нелегкую крестьянскую жизнь. Помнится, баба Груня любила попить здесь чайку, посудачить с соседками, полужгать подсолнушков, просто посидеть на его ступеньках, послушать ночные шорохи.

И Машутка с Лизонькой крутились рядышком. Подростками обожали они здесь пошептаться о своих задушевных тайнах, о самом сокровен-

ном. Часами могли с него наблюдать за движением облаков, мечтать о чем-то далеком, недостижимом.

А сколько песен здесь спето! Но еще больше, чем петь, нравилось им слушать, как выводит-страдает баба Груня. Настолько завораживал ее голос, что подружки не замечали: старушка пела всегда одну и ту же песню с простой мелодией и незамысловатыми словами.

И я выйду ль на крылечко,
на крылечко погулять,
И я стану у колючка
о любезном горевать.
Как у этого ль колючка
он впоследствии стоял
И печальное словечко
мне, прощаючись, сказал:
«За турецкой за границей,
в басурманской стороне
По тебе лишь, по девице,
слезы лить досталось мне...»

Неожиданно начинавшаяся песня, словно плач, так же неожиданно затихала, зная, иссякли Грушечкины слезы, осталось лишь воспоминание о далекой и горькой любви.

И вот опять они, будто в детстве, сидят с бабой Груней, чай гоняют, на светлячков, что в жасминных кустах посверкивают, любят.

— А что же, бабуль, песню-то свою не позабыла? — интересуется Маша у Груни.

— Рази ж такую запомнюшь? С нею жисть прожита. Помню, как не помнить... Я вот об чем радуюсь: и как только вас Господь надоумил крылечушко мое подлатать! Оно поскрипит, и я с ним, Бог даст, поскриплю еще маленько. На ем, почитай, всю жистюшку протопталась, не одни ходоки поистерла. Проморгнули годики... уж и вы не малолетки... — Груня чему-то улыбается про себя. — А помните, девоньки, как промеж собой спор вели, кто выше да кто на сколь за год подрос? — бабулька отодвигает развесистые ветки плюща: — Вот они, зарубочки-то. Крылечко по сей день метки хранит, детство ваше, почитай, год за годом помнит.

На свет слетаются бражницы, танцуют, мечутся у лампы. Груня на крылечке всегда любила посумерничать. Пригасит, бывало, фитилек у старой керосинки и давай сказки сказывать, где услышанные, где придуманные, и сама не помнит. Только знала их видимо-невидимо.

— А помнишь, бабуль, как мы тебя с именинами поздравили, какой подарок придумали? Два дня по бакше ползали.

И подруги хохочут, вспоминая, как наловили на бакше целый рой капустниц да лимонниц, запустили их в хоботную плетушку, накрыли подшалком. Пришла баба Груня с вечерней дойки, а они, чтобы подарок не выскользнул, двери заперли, да как выпустят бабочек из корзины. Так и справляли Грунины именины на крылечке, полном порхающих бабочек.

Не раз еще слышалось: «А помнишь?» Один за другим всплывали дни и вечера, оставшиеся здесь, под сенью этого дикого плюща.

Груне припомнилось, как выдавала она дочку замуж. Свадьбу играли, чуть ступеньки не сломали. Половицы гнулись, так лихо была дробь разгулявшаяся молодежь. А уж частушек переслушало крылечко за два дня!

Мне не надо дом кирпичный,
Был бы дроля симпатичный,
Был бы дроля по душе,
Проживем и в шалаше.

Ты Иванович, Иванович,
Ивановна и я,
Тебе не надо ли, Иванович,
Во женушки меня?

— Как я с им, родным, расстануся, ума не приложу, — всплакнула вдруг баба Груня, погладив растрескавшийся столбец. — Каждый скрип крылечушка, каждый вздох его помню, и оно тожить знает все мои печали-радости... Вы здесь топотали босыми ножонками... Оно, родимое, провозжало меня на утреннюю дойку, встречало с работы теплыми, нагретыми за день ступеньками. На ощупь знаю все выщерблинки на этих выскобленных дождями перильцах. Крылечко это, что родим-человек, согрело мне душу и помогало в самые тяжкие времена. Где бы я за день ни оказалась, не премину к вечеру сюда возвратиться.

6

...Две недели токали топоры, стучали молотки на Грунином подворье — подлаживали обветшавшую крышу хаты, обновляли ставни-наличники, а самое главное — сработали любо-дорого новое крыльцо. Старые полусгнившие доски спалили за садом на пустыре.

Деревенские любопытничали, заглядывали на строительный гам. С дальнего конца улицы приплелся дед Махай, бывший колхозный плотник. Не смог усидеть на своей завалинке, завидев, как к Грунину двору прокатила подвода со свежим тесом. Прикондылял и тут же по старой привычке закомандовал, засуетился.

— Колька! Стропилы-то покрепшея крепи! Скоб-гвоздей не жалея, чтобы Груне на следующие полста не знать печали.

— Чтой-то ты усхлопотался, дедуль? Как для себя стараешься! — подковыривали Махая.

— А што жа, — подхватывал дед шутку, — женчина Груша теперя богатая, эвон какие хоромы отгрохала, соберуся да к Покрову сватов зашлю. Пуцай отказать посмеить! Живо постройку по тесинке разберу!

— Об чем толкуешь, старый греховодник, — отмахивалась Груша. — Одной ногой на Поповке, а туда же!

А сама любовалась, не могла нарадоваться на новое крылечко. Изю всей деревни оно на загляденье!

Сосну на корню подсмолили. Дерево рубили не всякое, с разбором. Махай с Грушиным правнуком загодя отправились в лес, высмотрели подходящее.

— Бывало, готовясь к новостройке, за пять годков делали топором на стволах затесы-ласы. Снимали кору с деревьев узкими полосками сверху вниз да меж ими оставляли полосы коры для сокодвиганья. Сосенка-то за энти годы густо обронит смолу, пропитает ствол. А по первопутку валили мужички просмоленную сосну да рубили из ей хаты... Свалить дерево надоть знать когда, раньше-позже сроку — гнить начнет, а коли вовремя — самое то... Вот опять же лиственный лес... Его рубить надобно по весне, во время соков. И кора сходить, как скорлупка с яичка томленого, и высушенная на солнце березка-осинка становится кость костью,

калаяная, крепкая, — толковал Махай о своем ремесле Грушонку (так он Грушечкиного правнука прозвал).

— А скажи-ка ты мне, Иннокентий, почему деды наши одними топориками срубы ставили, «рубил» хаты, пилы только во внутренних работах использовали? — экзаменовал он Грушонка.

— Откуда ж мне ваши премудрости знать, хоть бы современные усвоить, — уклонялся от ответа парень.

— И что жа ты за несмышленной такой! Смекай: пила ить при работе древесные волоконцы рветь, открываить для воды, топорик, тот насупротив, сминаить волокна, торцы бревен и запечатываются.

— Видать, потому и гвозди в старину деревянные готовили, — сооразил Кешка.

— Ну, слава Богу, докумекал. Почаще к бабке наезжай, я тебя своему ремеслу в два счета обучу, — загорелся дед.

Решили сладить крыльцо угловое. Прямо с него обустроили ход на гульбище. Кровля — на два ската. Один короткий, над рундуком, второй, тот, что подлиннее — над лестницей. Крышу, по настоянию старого плотника, увенчали охлупнем с небольшим коньком. Сладили и «курицы», и водометы, прорезные и накладные причелины. Все как положено. Махай проследил, чтобы ничего не упустили.

Пока строительством занимались, заказали братьям Пахому да Кузьме Семякиным, двум старым мастерам-резчикам, прикрывечные украшения. К завершению работы подвезли они на телеге наличники да ставни. Залюбуешься! Будто не с деревом работали мастера, а кружево диковинное плели.

— Спокон веку крыльцо — лицо семейства, — заявили они, сгружая резные балясины, — а потому должно оно быть опрятным, прибранным, красиво изукрашенным.

На крышу измудрились сработать ажурный кокошник.

Груша заходила то с одной стороны двора, то с другой, не могла насмотреться на новизну, утирала кончиком подшалка слезящиеся глаза, без конца благодарила «помочников» — и строителей, и стряпух, и мальчишек, что крутились около: то инструмент подать, то за кваском в погребок слетать.

В конце августа, накануне Успения, работы были закончены, двор очистили от хлама, стружки вымели, остатки теса сложили под сарайку — пригодятся в хозяйстве.

Из хаты пахло пареным-жареным. На новоселье пригласили полдервни.

Грушенька, в новом шерстяном подшалке, в темно-синей штапельной кофточке в мелкий огурчик, в зеленой сатиновой юбке и в расшитом переднике, сидела на крылечке на свежеструганной лавке. Прислонясь к резному столбцу, дозволив командовать у своей печи внучке Лизавете, она прикрыла глаза: то ли заходящее солнышко слепило их, то ли старушка задремала. На спокойном, казалось, помолодевшем лице ее просматривалась едва заметная улыбка. Всегда напряженные, уставшие от бесконечных работ руки безмятежно затихли на пожелтевших кружевах праздничного передника.

Лопухи и крапиву со двора выкосили, под мальвами накрыли столы. За суматохой позабыли о притихшей на новом крыльчке Грушеньке. И только когда гости расселись, обнаружили, что место хозяйки пустует.

— Виновницу-то позабыли! — всплеснула руками Лиза.

Кликнули Грушеньку. В сумерках лица ее было не разглядеть, и казалось, старушка издали, с высоты крыльца наблюдает за последним праздником на ее дворе. Лиза заспешила к бабе Груше. Старушка не кинулась к ней навстречу, как обычно. Грушенька спала... вечным сном.

Из теса, оставшегося от строительства крыльца, связали гроб. Досок хватило в обрез. словно предусмотрели заранее.

Придавленная нежданным горем деревня, вся до единого, высыпала проводить бабу Груню в последний путь.

Там же, под мальвами, где недавно собирались праздновать новоселье, накрывали поминальный стол.

Народ, возвращавшийся с погоста, издали завидел языки пламени, внезапно вырвавшиеся ввысь над крыльцом Груниной хаты. Отстоять усадьбу не удалось.

Через полгода на ее месте Васька Рябой развернул долгожданную стройку.

БЫВАЕТ ЖЕ!

*«...Мед источают уста чужой жены,
мягче ея речь ее, но последствия
от нее горьки, как полынь,
остры, как меч обоюдоострый».*

(Притч. 5, 3, 4)

1

Апрель катился на исход, надвигались майские. И Толька Синицын перед выходными обхаживал жену: мол, ребята пристают, на окушей зовут. Открещивался: женского полу — ни-ни, мужская компания — Трофимыч, Петр Степаныч, опять же — Сергей Фомич. Все — люди суровых правил, каждого знаешь... Да и сама ведь вчера только вздыхала: ушицы бы из молоденьких окуньков.

Откуда было Лорке знать, что в гараже, куда она и нос не кажет — когда ей за детворой! — под зимними шинами схват за ради предстоящей поездки ящик горячительного, банки-коробки с продуктом. Закисли совсем, месяц, как своего часу дожидаются. Да и Зайка (новоявленная Толькина пассия) купальничек — три блестящих полоски — когда-когда присмотрела, ждет не дождется, чтобы спровадиться со своим ухажером на озеро первый загар принимать.

Хоть и вспомнилась Лорке прошлогодняя Толькина рыбалка, но... троих одной попробуй-ка подними! Мал мала меньше. Машенька вот только-только затопала.

А прошлый раз-то, вернувшись от матери, обнаружила она мужа под кухонным окном, калачиком на лавочке. Кое-как перебравшись по непреодолимым ступенькам в дом, распахнулся Толька в прихожей, а под курт-

кой — ни рубахи, ни майки... женская комбинашка! Е-мое! Это до каких же чертиков надо было доотдыхаться! Ох, и проредила она тогда мужнины, уже и без того растерявшиеся по чужим подушкам волосья! Ох, и дорвала-ась! Власть покуражилась!

«А! Пропади оно все пропадом! Шел бы он лесом! Ведь как худая бочка — сколько ни лей, все мало! Ни мытьем, так катаньем, наврет с три короба и один ляд — улизнет, — махнула на распропащего мужа Лорка. — Пошкодноичает кобель ненасытный — в грехах, как в шелках, а домой все одно вернется! Кому он с таким алиментным прицепом нужен? Ни вот-то какая разбежится!»

И все уже под неусыпным Толькиным контролем счастливо велось к тому, что Зайка вот-вот выгуляет свои новые тесемочки, как на тебе! Тольке перекрылся к отдушине вентиль!

Лорка, конечно, пустила слезу, но от Толяна не ускользнула ее зло-радная усмешка, мол, Бог шельму метит, потому и очередного твоего фортеля не попустил. Помешивая убежавшую кашу, — Машенька на руках — жена кивнула Тольке на телеграмму, с которой друг за дружкой носились по дому трехлетки-близняшки Саша и Даша.

Зачуяв недоброе, прицыкнув на ребятишек, Толька завладел, наконец-таки, рассласстным клочком казенной бумаги. Отодвинув ножницы, Лоркино раскинутое шитье, уселся за стол, напротив швейной машинки. Еще и не вник в строчки телеграммы, а ему уже почему-то стало кислосило под ложечкой. Пробежавшись по бумажке туда-сюда глазами, Толька и совсем опустил руки, будто «жигуленка» своего Трофимычу в карты продул. К тому ж, откуда что взялось? На дворе — дождь в веревку!

— Ну, сейчас начнется! Поехали с орехами! — успело промелькнуть в его поникшей голове. — Тетка померла ее, а в Тмутаракань ехать мне!

Лорка тут как тут, не дала одуматься, подозрительно ласково заворковала (знать, от радости сама над собой не владела), давай заигрывать, будто кошка с мышью:

— Собирайся, Толенька, куда я с выводком? — и, всхлипнув, привела неопровержимый довод: — Вить, как-никак, ближние — рóдная тетушка.

«Прокукарекала, а мне теперь хоть и не рассветаи», — подумал Толька, а вслух пощунял в сердцах и уже совсем обреченно упрекнул то ли покойницу, то ли жену:

— И чего ей не жилось, тетке Дусе твоей! За таким мужиком, как Митрофаныч, не будет напраслина — можно двести лет жить припеваючи, как у Христа за пазухой, а то и вовсе не помирать — от юбки жены — ни на шаг, жизнь просидел у нее в ногах, руки золотые, грамма в рот не берет. Все, бывало, Дусек да Дусек... Вот тебе и Дусек! Да... подкачала Митрофаныча бабка... и меня, прямо скажу, подвела, в самый неподходящий момент... не подумала, представилась. Пухом земля ей!

Митрофаныч, завидев Тольку, с ящиком водки, с провиантом, конечно, проникся: «Спасибочки, не забыли в тяжкий час, и правильно — что ни говори — свое!»

Похороны — они и есть похороны. Что нового о них расскажешь? Отпели, попрочитали, закопали. Как водится. Разостлали рядом со све-

жим суглинистым холмиком на молодой кладбищенской травке ска-терку, выпили за упокой бабы Дуси.

Помянули и дома. Растопили во дворе каменку, соседки нажарили, напарили. Выставили под кленами на клеенки с вечера сколоченного длинющего стола бутылки и тарелки-миски с угощением.

Просидели до звезд. Баба Дуся не обидится. Митрофаныч соблюл обряд, как положено, чин чином.

Разошелся народ. Засобирались в ночь и Иван, единственный сын Митрофаныча и бабы Дуси. Сказался, мол, ну никак не может из-за каких-то там несусветно важных дел задержаться. Самолет, мол, дожидаться не станет. С тем и отбыл.

И на другой день, лишь через подслеповатые, присевшие окошки дедовой хатенки протек рассвет, и солнечные лучи обогрели густо наклепленные в одной большущей раме фотокарточки, отведать, «покормить» покойницу спровадились мужики вдвоем — Митрофаныч да Толька.

Хоть и рвалась Толянова душа на рыбацкие вольные просторы, да и Зайка обзвонилась (кол ей на голове теши — она свое: обещал ведь!), но не оставлять же, ей-Богу, деда в такой беде одного?

А молодой день начался с охотой, заранее. И выдался — на загляде-ньице! Такие бывают только в середине мая, а нынче весна ранняя, и зеле-нь забутонилась до срока. Погост утопал в черемуховых зарослях, со-ловей захлебывался без передыху.

Мужики расположились обочь бабы-Дусиной могилочки. От венков густо пахло свежим сосновым лапником, восковыми цветами.

— Сподобил же Господь прибрать мою Дусю в такую-то благодать... Да-а не каждому эдак подфартит, — распочел бутылку, всхлипнул, разливая по первой Митрофаныч. — Один я теперь остался... как перст один... Ванька вон дернул! Вишь ты, путевка на какие-то Мандивы про-падет... Что ему до отца? И дела нету! Ему хоть бы хны, что я, можа, с беды-горя тожить копыты откину.

— Ты, Митрофаныч, не шибко-то убивайся! Пожила ведь тетушка Дуся. А то вот давай к нам. Лорка, знаю, обрадуется! С ребятишками по-заботничаешь, позабавишься, глядишь, и охольнет душечка.

До-олго сидели, балакали мужики на погосте. А куда спешить-то деду? Да и Толька — телефон отключил, чтобы Зайка не допекала. Раз-говори-ились!

Дед основательно пообспросил о молодом житье. Как, мол, выкручи-ваетесь там-тко, в городах своих? Сколь зарабатываешь?

— Да, как все, Митрофаныч, кручусь, как могу. Лорка у меня — мо-лодец! Швея первоклассная. Даже сейчас не остается без заказов. С тре-мя, а ножницами день и ночь кроит-счелкает, все строчит, строчит на своей «зингерке». Как-никак, а тоже доход, приработок.

— А как у тебя, мил сокол, насчет левака?

— Бывает, иногда подвернется. Кто ж откажется от лишней ко-пейки?

— Дак я не об том вовсе, — хихикнул дед. — Я насчет бабского полу. Слышал, как-то Лора твоя бабе Дусе жалилась. Мол, шkodник ты, маста-ак! А по годам пора бы уж... Вон и волосья серебром отстрочены.

— Ты, дед, всех собак-то на меня не вешай! Куда мне с такой-то ора-вой! — заотбрехивался было Толька.

— А он, мил человек, коли завел моду, коли налево затесан, хочь озолоти его, рази ж об том думает? — опять хихикнул Митрофаныч. — Ты послухай-ка, уж рассекречу я тебе свой предавний грешок, — побойчел, совсем захмелев (еще бы! в такие-то лета на воду переходить пора, а он нате ж вам — за мое почтение махнул граненый по Марусин поясок!), дед и кивнул в сторону могилы, выпучивавшейся шагах в двадцати, аккуратно наискосок от бабы-Дусиной, и понес околесицу: — Лежит в той-то оградке Маня-Ягодка. Пошто Ягодка? А по то: кто пройдет, тот и ущипнет. Не тебе — Господи прости! — слухать, не мне говорить, но все одно, — дед цокнул языком, — ох, и бабенка была, хочь как крути! Ндравилось ей это полюбовное дело, страсть как! Кто, значит, щипнет, тому вороты и открывала... видная была, не простуша-баба, хто ж спорит?.. Глазенки невинные-е-е — бирюза бирюзой! Косынка на плечиках! На энто тожить свой цимус, своя чуйка нужна... Баб, конечно, нашенских завидки брали. Еще бы! Всю мужицкую разносортницу на двадцать верст окрест перепробовала. Видать, по нутру своему неумемному искала.

Окунались, значит, мужики к ей, ну, и я не сдержался, раззадорился... Как не окунуться на халяву-то? Тада, прямо скажем, меня мужики и не поймут!.. Тока вышла у меня с того кунанья таковская кадрель.

Раз заглянул я до бабенки той, другой раз сходил, а там как пошло, как поехало! Не удержать меня кола Дуси, как приворожила Ягодка, мысли — угарные, все, бывало, подле околачивался. Никакого спасу от ей нетути. Как токо без чужих глаз... хочь в покосах, хочь летом на дойке, хочь зимой в овине, — я к этой самой Мане-Ягодке в полон. Совсем с катушек сбился, а уж Ванька-то у нас с Дусей был, годка три, кажись.

Приповадилса, значит, я и, заприметь, проваландалса с ей с Роштва до самого Зимнего Николы, почитай, что цельнай год. И уж деревня об нас засвирчала, нешто утаисся? Все, как есть, на ладони. Тут слепой, и тот увидит. А Дуся покуль помалкивает, жена-то об мужниных проказах когда-когда дознается, бывает, последней. А мне то-то и на руку!

— Это ж надо! Никогда б о тебе такое не подумалось! — ухмыльнулся Толька, пока дед мусолил самокрутку.

— Ну, дак когда то было? Тебя по ту пору еще и в мамкиных планах не водилось!

— А ты дед — ходок! И чешешь, как по писаному! — залукавились Толяновы глаза.

— Не насмешничай! Это дело десятое! Погляжу-ка я, как тебе пондравится та-то гульба, как дослушаешь мое исповеданье до конца... Не зря же в народе толкуют: сколько веревочке не вейся, а все одно конец будет... На чем это я остановился? Ах, да!.. И вот, значит, прознала, наконец-таки, и Дуся об моих шурах-мурах. Но это еще полбеды, а вот беда так беда, наистрашнейшая, стряслась, когда дошли мои кунания к Ягодке до Дусиных сродственников, до бати с матушкой! Ой-ей-ешеньки!

А семейство ихнее не нашенских корней, да и не совсем простецкое, послушай-ка, мил человек. Сказывали, пришлые они, прадед ихний объявился каким-то тайным образом в наших краях. А следом за ним пришла и его кличка — Расстрижка. И стали их, значит, по-уличному кликать Расстрижкины... Ну, Расстрижкины да Расстрижкины. А мне-то что? Я и не задумался ни об чем, когда к Дусе посваталса.

Оказывается же, что корень ихний из Сибирской Сибири, из самой что ни на есть глухой глуши лесной. К тому ж, вот что интересно-то, Дусин прадед Расстрижка был когда-то не из последних у староверов. Суровый, сказывают, был дед, наистрожайших манеров! Правда, чтобы лихо-матом кого отбрить — ни в жисть! И из себя — тур златорогий. Таковская уж натура.

Как он опростоволосился, за что уж турнули его свои, что поп не поделил с единоверцами — один Бог ведает. А только, разобидевшись, сгреб он свое немалое семейство, да и, отмотав сотни верст, прибыл, каким, одному ему известным путем, в нашу деревушку. Где и впоследствии обосновался.

— Это что ж получается? Тетя Дуся из старообрядческой семьи? — подивился Толька.

— Из них, милай, из них. Токо кто ж об том кричит? Но люди ведь все примечают. Знали об том у нас. Как не знать-то? Вот погляди, какие кресты староверческие на могилах тестя моего Хрисантия Никодимыча да тещи Пелагеи Наумовны красуются. Теперя придется и Дусе такой же ладить. — И дед повел Тольку к заросшей сиренью оградке с чуть приметными бугорками.

В ней просматривались два накренившихся, прозелененных дубовых креста. Кресты, как кресты, только восьмиконечные, с двускатной крыш-кой. Такие, слышал где-то Толька, голбцами прозываются.

— Помирая, — заметил Митрофанч, — хочь и взял я ее «убегом», хочь и отошла вроде от веры-то ихней, а все одно Дуся наказывала: крест, мол, чтоб, как у сродственников. Пока наспех сладили, какой успели. А теперя вот предстоит дело непростое. На могильном кресте у старообрядцев, там, где у нас карточки крепят, у них вырезают «киот» — нишу для небольшой иконки и лампадки. Дуся-то завсегда говаривала: «Заруби себе на носу! Молиться надобно Богу, а не фотокарточке». — Обмяв вокруг крестов молочай, дед припомнил: — К слову сказать, и венков Дуся на могилу приносить запретила... Да куда там! Натащили вот супротив ее воли! Что с ими теперя делать?

— Это как же без венков-то?

— А очень даже просто! Вот тебе бабы-Дусино слово: «Нечего меня украшать венками... Господь сам рассудит, хороша ли моя душа. Коли плоха она, то и венки не украсят».

Присев на лавочку у староверческих могил, дед вдруг хмыкнул, покачал головой, вспомнив что-то давнее-предавнее, словно чему-то подивился, словно что-то в точности знал, а самому до сих пор в это не верилось.

Толян не полез в душу. Но дед не выдержал, взял и вывернулся подчистую наизнанку. Выложил все, что держал в тайне лет, почитай, шестьдесят, не меньше.

— История-то моя не закончилась. Тут вот, у этих могил, продолжить ее самое место, поскоку родители Дусины в ей самые наиглавнейшие лица.

А было все так... Откуда просочился вдоль деревни слушок, а может, и сама Маня запустила, только зашущукались бабы на завалинках, у колодцев, мол, зятек Расстрижкиных к Ягодке навовсе собрался.

Возвернулся я как-то из бани, как чуял, вымылся, кальсоны, рубаха чистые. Повечеряли, значит, уж и за занавеску я сонно просеменил, лег. Дуся об чем-то со стариками шушукается. Мало ли об чем? Родители они

ей, как-никак. Подходит она к кровати, кахы да кахы и вдруг ни с того, ни с сего плюхается мне всей своею тушью на ноги. Ну, тебе ни встать, ни сесть. Это под старость она поусохла. А в молодые лета — центнер, а то и поболее! А я, как сейчас — сухарь, так и смолоду — сухарь сухарем.

Что ж ты, разэтакая, делаешь-то? Счас жа ослобони, кричу. Лучше б стерпел! Дуся навалилась на ноги, не скинуть, и на крик мой прибежали ее родичи. Суматошные-е! То ли с горя какого, думаю, то ли с радости... А теща (глазица, что твои пельмени, тожить центнер немалый, у нее не заржавеет!) прямо булени объелась! Сгребла, как веточки, мои руки, за-ломила, замотала рушником и привязала к спинке кровати. Тесть хватя тряпку и кляпом — в рот, чтоб с улицы соседям мои рыдания не были слышны... Дуся-то, Дуся! Набычилась, шмык, и кальсоны с меня долой! Стыдоба-а! Матерь Божья, мычу, смилуйся, не дозвоь лиходеям меня осрамить!

А Дуськин батя, он же испокон веку лéкарствовал по животной части: не растелится корова — бегут к нему, поросенка кастрировать — опять к Расстрижкиным, прокалил на грубке овечьи ножни, прихватил суровые нитки, трижды перекрестился, погрозил, как мальцу, пальцем и скazujeает, так-то оно, мол, спокойнэй Дусе будет, неча бабу да мальца позорить, эти причиндалы тебе тока жисть портят, да и всему нашему семейству от них покоя нет. Глядишь, поугомонисся, паскудник. И покачал головой с горькой укоризной.

Я было елозить, извиваться, я — туда, я — сюда. Куда там! Такие бабищи у деда на подхвате! Лежу, значит, надломленным чертополохом, будто через мясорубку пропустили, внутрих все запеклось, одно только и мелькнуло: никакого понятия-жалости, хочь бы уж самогону плеснули. Теща, правда, спохватилась. Прямо из бутылки залили в меня со стакан.

Жена, значит, с тещей держали — растудыть их туды — а тесть чик, просто напросто, как у самого завалящего поросенка самым безжалостным образом отсек у меня, по его разумению, лишнее, совершенно ничемное! Будто корова языком слизнула. Зашил-перевязал крепко-накрепко суровой ниткой, и иди, гуляй себе с Богом! Рот кляпом заткнут, даже покричать не дали изуверы. Слезы — ручьем, такого страшного насилия над мужским достоинством в нашей деревне отродясь не слыхивали. Надо ж было угораздить породниться с расстрижьим племенем!..

Правда, как пошло дело на поправу, как отболелось, так я и поуспокоился, будто сто пудов с себя сбросил. Зажил — легче легкого. Кум королю, сват министру. Со двора — ни ногой, все при Дусе да при Дусе сидю, и души в ней не чаял всю остатнюю жисть. А что самое удивительное — ни одна лихоманка меня не брала, ни простуды, ни еще какая хвороба... теперь вот и Дусю пережил... а ить я ее на осемь годочков постарше. Так просто Митрофаньча в гроб не загонишь! — расхорохорился дед. — Видать, придется смерть свою перехитрить, здоровым на тот свет отправляться. Прямо и не знаю, за что это мне Господь добавки дал... Вишь ты, Толька, какие дела!..

Не-е, я уже давно на них обиды не держу. Сам себе, как говорится, подгадил. Виноватый — на семь рядов! Каюсь... будто в чемодан чужой залез, э-эх!.. Ну, дак чертяка попутал! И ведь, коли посмотреть, хочь скрозь, хочь с какого боку, хочь спереду, хочь сзаду, Дуся-то моя ничем не хуже той-то Ягодки. А ить завсегда так ведется: суседская дичка слащей медовки из собственного саду. Так-то, браток! Жизненная комедь!..

Только отчего-то вдруг стало не по себе: вспомнилась, будь она неладна, пышнозадая кадровичка Томусик, ее товарка Раечка, что вперекор Томке уже месяц вертит своими пятнадцатикилограммовыми арбузами перед Толькиным носом...

Вспомнилась и жена Лора... И ее пристрастие к кройке и шитью... Вспомнились и ее косые взгляды, когда он «задерживался на сверхурочные»... А самое главное — вспомнился лязгающий, яростный скрежет ее большущих ножниц после его возвращения... И Только стало совсем жутко! Чем черт не шутит? А вдруг у них, у Расстрижкиных, это семейное — отсекать все лишнее, вдруг у жены чикать ножницами — это наследственное? Кто ее знает?!

